

В детстве я бредил железной дорогой. Мой дед, который годами никуда не ездил, жил на Железнодорожной улице. Ночью его домик содрогался от грохота колёс. Жёлтые окна поезда трассирующей очередью летели в ночь. Я прикивал лицом к холодному стеклу.

Вот хриплый гудок умер вдали... Я дышал на стекло, оно запотевало, и дальние фонарики за линией светили как бы из-за густой пелены тумана. Сладко сжималось сердце, колола под ложечкой неясная печаль.

Кромешной ночью, когда на станцию опускается невыносимая тишина, когда взрослые спят, всхрапывая и чмокая губами, а дети бессонно всматриваются в ночь, какие надежды сулит им пронзительный гудок? Какие картины рисует в их воображении? Что вообще значит для русского человека слово “поезд”?

— Папаша! Кто строил эту дорогу?

— Эту дорогу, душенька, строил граф Пётр Андреич Клейнмихель, и по бокам её — всё косточки русские”, но не только — ещё и тысячи страниц прекрасных русских стихов и прозы. В неверном свете свечи, вставленной в четырёхгранный фонарь, сидят друг против друга в вагоне Мышкин и Рогожин, и всё длится их бесконечный разговор... “Тень набежала на стёкла морозные... Что там? Толпа мертвецов!”

Я ещё застал паровые машины во всей их силе и мощи. В конце шестидесятых годов электровозы ходили по Великому сибирскому пути только до Иркутска, а дальше пассажирские поезда прицепляли к паровозам. Однажды утром, проснувшись в вагоне поезда Москва—Чита, я раздвинул дверь купе и увидел за окошком клубы дыма. “Что это?” — спросил я у отца. “По старинке идём, как паровозом”. Вот это да! Прежде мне доводилось видеть паровоз лишь стоящим на запасном пути станции депо Савёловской железной дороги. Повиснув на ручке оконной рамы, я опустил её и высунул голову навстречу хлестнувшему по глазам ветру и дыму. Мы шибко шли по какой-то каменистой местности. Грохочущий состав круто изогнулся на излучине пути, и как на ладони видна была великолепная машина в голове поезда — чёрная, крутобокая, вся в клубах желтовато-грязного дыма, остро пахнущего печной сажой. Резво ходящие вверх-вниз блестящие локти шатунов придавали паровозу удивительное сходство с живым существом.

Когда, власть насмотревшись, я вернулся в купе, то услышал дружный хохот. “Что такое? — А ты в зеркало на себя посмотри!” Я задвинул дверь и увидел в зеркале вместо себя негритёнка с блестящими белками и красными губами. Вот тебе и паровоз! Я до Иркутска горя не знал, целыми днями не вынимая голову из окошка, а здесь через десять минут оказался весь в саже.

Это был новый этап в моей жизни. Из пензенской коммуналки, из пыльных дворов позади корпусов Артиллерийской инженерной академии постройки прошлого века, где мы охотились на офицеров Немецкой народной армии, выносящих в форме и начищенных сапогах мусор, я выбрался на захватывающий дух простор с такими кручами, что поезд вползал на них со скоростью улитки, порой откатываясь назад, с корабельными соснами, так тесно подошедшими к путям, что, казалось, они образовывали над ними свод, с голкими железными мостами, вознесёнными столь высоко над горными реками, что вниз было страшно смотреть, с туннелями, с грохотом отсекавшими свет, с четырёхгранной стелой, обозначающей границу между Европой и Азией.

Я увидел лежащий в каменном ложе пронзительно-синий необозримый Байкал, блестящий соблазнительно в знойный августовский день. На станции Слодянка отец и молодой проводник пошли купаться. Время стоянки было указано пятнадцать минут, но стоило им уйти, как по внутренней трансляции объявили, что поезд задержится всего на три. Тщетно мы с матерью пытались разглядеть с площадки, где же отец и проводник. Состав тронулся, правда, медленно, поскольку пути были забиты поездами. Мы с мамой и пожилым проводником стояли в тамбуре, высунув головы наружу. Состав понемногу набирал ход. Остались бы наши купальщики на станции Слодянка в тренировочных костюмах, без денег и документов, если бы один из них не был проводником. Его пожилой напарник, всё более мрачней по мере того, как поезд набирал скорость, вдруг решил и сорвал стоп-кран. Нас бросило к противоположной стене тамбура, завизжали бандажи колёс, снимавшие стружку с рельсов. И тут же, как из-под земли, вскочил в тамбур разъярённый багровый начальник станции и, схватив за грудки проводника, разразился страшными непечатными ругательствами. Это был первый встреченный мной сибиряк, матерящийся в присутствии женщины и ребёнка, а таких мужчин за Уральским хребтом девяносто пять процентов. Среди прочих угроз в адрес проводника прозвучало обещание отдать под суд и расстрелять. Я недоумевал: если существует стоп-кран, то почему надо расстреливать тех, кто его нажимает? Лишь под конец захватывающего дух монолога начальника станции, когда он сообщил, что у него каждая секунда простоя стоит государству тыщи рублей — е. в. м.! — я начал кое-что понимать. Этот пунцовый чёртик с путейскими петлицами исчез из вагона так же внезапно, как и появился, но спустя ещё несколько минут казалось, что его красный контур дрожит в воздухе. Поезд сразу тронулся. Опустив головы, мы вернулись в купе. Вдруг дверь с грохотом раздвинулась, и на пороге появился босой отец в купальных трусах и майке, прилипших к мокрому телу. Одежду и тапочки он держал в руках. Ноги его были сбиты до крови.

Он ещё в студёной байкальской воде заметил неладное и сказал своему отфыркивающемуся напарнику, что вагон-ресторан их поезда почему-то пе-

переместился в другое место. Проводник, знакомый, видимо, с открытием Эйнштейна, глубокомысленно предположил, что переместился не вагон-ресторан, а они относительно вагона-ресторана. Папа, недавно закончивший академию, не стал спорить с грамотным проводником. Купальщики продолжали плескаться и, когда в следующий раз взглянули в сторону станции, никакого вагона-ресторана вообще не было. Тут они начали кое-что понимать и отчаянными саженками поплыли к берегу. Вскочив на насыпь, пловцы увидели лишь хвост уходящего поезда. Неделю думая, они пустились его догонять, скача, как зайцы, но шпалам. Финал вам известен: выручил пожилкой проводник, да и начальник станции подсобил, потратив драгоценные государственные секунды на свои удивительные словесные обороты.

Разве я пережил бы без неё это, ощутил бы физически, что Россия — действительно шестая часть мировой суши, если бы мы летели на самолёте? Самолёт — это всего лишь средство передвижения, а поезд — часть жизни.

В Забайкалье увидел я настоящие дачные поезда образца начала века, прицепляемые к паровозу, с открытыми площадками, узкими окошками и грибками-вентиляторами на покатых крышах вагонов. Полагаю, создателям фильма “Даурия” не пришлось сильно тратиться на железнодорожные сцены: исправные паровозы и старые вагоны они могли найти практически на каждой станции.

Вообще, прошлое как-то придвинулось ближе, когда мы уехали за тысячи километров от Москвы. В России (сибиряки свой край Россией не называют) слова “война”, “маоизм”, “Китай” значили для нас примерно то же самое, что выражение “космический полёт”. А в Чите, где мы какое-то время снимали квартиру неподалёку от железной дороги, всю зиму и начало весны 1969 года я видел идущие к китайской границе составы с танками, пушками и “катюшами” на открытых платформах, а рядом — одетых в овчинные дохи до пят часовых с суровыми озябшими лицами. Таким передо мной предстал первый раз в жизни образ настоящей войны.

Помню первых железнодорожных “челночников”. Это были вьетнамцы. Дисциплинированные и исполнительные коллективисты, они сразу внесли в дело организационную основу и придали ему всеоюзный размах. Добыватели дефицита никогда не перевозили его по железным дорогам, а транспортировщики им не торговали. Существовало полное разделение труда. Конечно, и у них случались осечки. Однажды в поезде Москва—Архангельск ехал маленький, как обезьянка, смуглый и подвижный вьетнамец. Чего он только не вёз — и в нашем, и в соседнем, и в багажном вагонах! В Вологде он вынес на своих плечах часть этого великолепия из поезда. Холодильник, стиральная машина, телевизоры, пылесосы и с полсотни популярных почему-то в Юго-Восточной Азии цинковых ванны, смахивающих на древнеегипетские гробы, и так же, как они, составленных одна в другую.

Вьетнамец стоял на перроне у своих штабелей с бесстрастным восточным лицом. Но никто не приходил. Шло время, курьер стал озираться, проявлять признаки беспокойства. Когда до отхода поезда оставалась одна минута, он спешно бросился выгружать из вагонов ещё несколько ящиков и штабелей ванн. Видимо, их следовало довести до Архангельска. Поезд тронулся. Вечерние лучи солнца освещали цинковое великолепие, кубы и параллелепипеды электроприборов в скучной упаковочной таре и тщедушную фигурку часового. Он не бросил свой пост, ибо его, вероятно, удавили бы за это тонким шёлковым шнурком и похоронили бы в детской цинковой ванне.

Незадолго до “бархатной революции” в Праге мне сказал в поезде Москва—Мурманск молодой чех, едуший с товарищем стажироваться на Кольской АЭС: “Зачем это всё: Горбачёв, перестройка? У нас ничего этого нет”. Зарекалась кума! Мне и сегодня не очень понятно, зачем большинству простых чехов и словаков нужна была эта “бархатная революция”. Молодой чех-инженер жил в деревне в 70 километрах от Праги, где в магазинчике мог свободно купить все те деликатесы, по которым у нас тогда с ума сходили, имел автомобиль, колхоз ему строил дом в рассрочку по льготной цене. Понятное дело, что всё это не заменит свободы, но я не заметил на лицах моих собеседников следов идеологического угнетения или мало-мальского

интерес к политике. Они любили пиво, можжевельную водку “Боровичку”, предвкушали встречи с северянками. “Бархатная революция”? “Пражская весна”? Эти “вёсны” нужны, главным образом, графоманствующим политикам, которым очень тоскливо прозябать в безвестности. Лавры Герострата стремятся заподличить те, кому недостаёт таланта, чтобы прославиться.

Но что, собственно, потеряли чехи и словаки в результате перемен, кроме единого государства? А у нас, если вернуться к железным дорогам, которые есть символ порядка во всяком государстве, в 90-х годах остановились целые маршруты: например, участок Закавказской железной дороги от реки Псоу до реки Ингури в Абхазии. Заросли травой шпалы, заржавели рельсы красивейшего пути, в сотне метров от которого набегают волны на песок, заворачиваясь с краю, как исписанный лист, а с другой стороны стеной стоят серые морщинистые скалы. Лишь дребезжание старенькой электрички, проходящей раз и сутки туда и обратно, нарушало одышливое дыхание моря. Этот путь починили наши железнодорожные войска аккуратно перед войной в Южной Осетии. Вторжение в Абхазию Саакашвили тоже наметил, но помешал генерал Шаманов, который быстро перебросил к границе Грузии по новенькому пути дивизию ВДВ. А после “пятидневной войны” по сухумской ветке пустили пассажирские поезда.

Северо-Кавказская железная дорога! Названия станций её звучат, как ожившая история гражданской войны: Таганрог, Батайск, Тихорецкая, Туннельная, Горячий Ключ... Меловые обрывы над серо-голубым Азовским морем, коричневая пыль, реки, текущие по плоской зелёной степи, оживляемой лишь ивами и тополями, ветвящиеся, как дерево, глубокие балки-овраги, эпический тихий Дон в шеренгах камыша, расцветающий мазутной радугой при приближении к разноязыкому, душному, раскалённому летнему Ростову... Силуэты Кавказского хребта при движении по Кубани и ощущаемое одновременно дыхание ещё невидимого Чёрного моря... Нарядные, чинные, обрамлённые пальмами и благоухающие магнолиями станции на перегоне Туапсе—Адлер... Это тоже Россия, хоть нет в ней ни суглинков, ни ёлок, ни берёзок, ни нашего голубого низкого неба.

Здесь следуют на юг фирменные курортные поезда со степенными северными людьми, а на север направляются архаические ободранные южные составы. Помню, в Тихорецкую, где стоял наш чистенький, с промытыми стёклами и пропылесосенными ковровыми дорожками скорый поезд Москва—Сухуми, прибыл пассажирский Баку—Ленинград, вынырнувший точно из горнила гражданской войны (из будущей гражданской войны): донельзя грязный, пыльный, с выбитыми окнами и облупленной краской. Из дверей и окон гроздыми торчали синешёкие носатые головы в анекдотических кепках—“аэродромах”. Состав ещё не остановился, а уже из него стали прыгать мужчины и подростки в синтетических лыжных костюмах, пузырями висящих на коленях. Перрон в мгновение ока наполнился гортанным гомоном, голозадыми чумазыми ребятишками, сгорбленными в три погибели усатыми старухами в чёрном и толстыми грудастыми женщинами в тапочках на босу ногу. Безо всякого смущения рассматривали они нас, северян. Я не знаю, были ли в бакинском поезде проводники, но никто не предупреждал пассажиров, что поезд отправляется. Он вдруг непривычно резко дернулся, как товарняк, и пошёл себе, в то время как бо́льшая часть пассажиров осталась на перроне. Они загорланили ещё оглушительней, хотя совершенно беззлобно, и стали мячиками прыгать в двери и виснуть на поручнях. Детей передавали в лишённые стёкол окна. Состав тем временем, как ни в чём не бывало, набирал ход. Когда последний нагон с меланхолически покуривающим в проёме задней двери волосатым мужчиной в майке исчез за поворотом, ни одного беспечного южанина на перроне не оказалось, только чей-то “аэродром” с лоснящейся изнанкой катился в вихре поднятой поездом пыли.

Азиатский Восток был другой, нежели кавказский. Пассажиры здесь столь же беспечны, но куда безмятежней и спокойней. Прыгать на ходу их не заставишь под угрозой расстрела. Они любят часами смотреть в окно и, не вытирая пот с лица, пить чай, или долго и аккуратно есть дыню маленьким ножичком, оставляя от неё не корки, а тонкие шкурки, будто от сала.

На столике в каждом купе — железный пузатый запарной чайник и шпалы. Чай и сахар можно брать самим в купе проводников. Деньги за это в пути с вас спрашивать не будут, возьмут по приезду. Если вы забудете заплатить, никто вам не напомнит. Зачем? Чай пить — хорошо, а деньги — они или есть, или их нет.

Поезд Бишкек—Москва шёл по однообразной голой казахской степи. Казалось, вам показывают в окно одну и ту же увеличенную фотографию. В сумерках состав остановился на станции Кызыл-Орда. Я задремал, но меня тут же разбудили громкие переговоры по радио открытой трансляцией, далеко разносящиеся по безмолвной пустыне. Говорили характерной казахской скороговоркой, напирая на звук “р”. Находясь между сном и явью, слушая и ничего не понимая, я вдруг всем сердцем ощутил тысячи километров Великой степи вокруг. Времени не существовало. Гикая, летели в пыли по плоским холмам на взмыленных приземистых лошадках орды Чингисхана и Тимура. Среди немыслимых, почти космических пространств стоял наш маленький жалкий поезд. Кто мы? Откуда мы? Почему столь одиноки и беззащитны?

*Где я? Так темно и так тревожно  
Сердце моё стучит в ответ:  
Видишь вокзал, на котором можно  
В Индию Духа купить билет.*

Я лежал за тонкой железной стеной вагона, отделяющей меня от залитых лунной бесконечных великих просторов, в Кызыл-Орде, в сердце Казахстана, но это тоже была Россия, русский путь на Восток. Ибо Россия — вовсе не территория. Россия — это состояние.

## НОЧЬ, ПАРОМ, КРЫМ

Уж сколько раз бывал в Крыму и жил там подолгу, а никогда не забуду, как плыл паромом в НАШ Крым майской ночью 2014 года. Я волновался, наверное, словно перед первым свиданием, и всё думал: вот я сойду по трапу землю и не увижу ни украинского пограничника, ни постылого жовто-блакитного флага, у меня никто даже не проверит документы. Ни одна сволочь не потребует от меня заполнить “иммиграційну картку”. Никто не попробует заглянуть в мой чемодан. Потому что я снова в России: всё равно, как с правого берега Волги на левый переплыл. Я — в России. Я — в России. Я даже не повторял это — так стучало сердце. Вероятно, это были смешные и детские эмоции, но ведь примерно такие же испытывали те, кто впервые плыл в Крым после присоединения его к России свыше двухсот лет назад.

Как только наш старенький паром отошёл от стенки, все перебрались на верхнюю палубу: смотреть на размытые керченские огни впереди. Плескала волна за бортом, туман стоял над водой и крупные южные звёзды — над головами. Ветер, дующий нам навстречу, принёс из Керчи непередаваемый, сладковато-хвойный крымский запах.

Какая-то предприимчивая тётенька тут же, на палубе, продавала горячие пирожки из закутанной в одеяло кастрюли и наливала в пластиковые стаканчики кофе и крымский коньяк. Как тут было не выпить? Чудесная, незабываемая ночь! Вероятно, не я один испытывал волнение, потому что наши спутницы, девушки из мурманского фольклорного ансамбля, запели, может быть, не очень подходящую по месту и смыслу, но так отвечавшую нашему настроению песню:

*Прощайте, скалистые горы,  
На подвиг Отчизна зовёт!*

А стоявший неподалёку со своей девушкой парень вдруг подхватил глубоким и сильным, явно профессиональным баритоном:

*Мы вышли в открытое море,  
В суровый и дальний поход.*

Когда допели песню, выяснилось, что парень был солистом из Мариинки. Я понял, что он испытывает то же самое, что и я, что и все мы. Мы были на этом пароме одним народом, нас всех из недавнего атомарного состояния объединило возвращение Крыма. Это было более глубокое ощущение, чем то, что я переживал ранее, представляя, как ступлю на землю НАШЕГО Крыма. Моё сердце тогда стучало: “Я — в России”, а теперь оно говорило: “Мы — Россия”.

## ПОСРАМЛЕНИЕ БОГА ЖРАТВЫ

В сентябре 2015 года меня пригласили выступить в Ялтинском театре имени Чехова на вечерах-спектаклях, посвящённых Шолохову и Грибоедову. Честно говоря, сначала я испытывал некоторые сомнения, что мероприятия будут иметь успех. Современные крымчане казались мне достаточно индифферентными к литературе людьми. Дело в том, что власти Украины, начиная с Кравчука, не будучи в состоянии дать народу идеалы, привили ему культ жратвы. Здесь я имею в виду даже не крымчан, а их гостей из “жовто-блакитной родины человечества”. Понятие отдыха у них неотделимо от процесса интенсивного и непрерывного приёма пищи. Даже выпивка, пожалуй, на втором месте, хотя выпить они тоже не дураки. Православные называют этот грех гортанобесием. Малороссы в Крыму, где бы они ни находились, всё время чем-то набивали желудки, особенно на пляжах, куда с утра приходили с картошкой, салом, колбасой, огурцами, консервами (привезёнными, между прочим, с материка) и сидели за своими скатертями-самобранками до вечера, время от времени тяжело, как бегемоты, погружаясь в море, что ещё больше разжигало их аппетит. Крымчанам это совершенно не свойственно, они и на пляжи не ходят в дневное время и не любят есть в жару, но эти украинские гости-обжоры не могли не повлиять на их психологию — отчасти в смысле возможности заработать на чревоугодии гостей, потому что другой такой возможности, не считая традиционной сдачи отдыхающим жилья внаём, в общем-то, и не было. Вот вам летний пейзаж в Крыму времён “незалежной”: одни жрут “на бреже синему морю”, свесив на колени объёмистые животы, а другие, обливаясь потом, подносят “снаряды”. Между ними, диковато озираясь, ходят с пивом и минералкой российские туристы, порой неуверенно присоединяясь к жратве (может быть, здесь так надо, коли нет “всё включено”?). Перелом произошёл лишь в прошлом году (в 2014-м украинцев в Крыму было ещё достаточно). Массовое преобладание отдыхающих из России, не имеющих скверной привычки есть картошку и консервы в общественных местах, быстро свело украинскую жратку в Крыму на нет, к великому сожалению торговцев харчами на вынос (вот они — патриоты Украины в Крыму, если кто их ищет!), и стало в разы меньше мусора — это при том, что в крымском ЖКХ произошли значительные сокращения по причине необходимости повышения работникам зарплат. Но психология-то осталась! 22 года миллионы гостей здесь лопали, как акулы: вы думаете, такое проходит бесследно? Ведь смысл жизни в жратве видят не только “пользователи”, но и — невольно — те, кто их обслуживает. Прибавьте сюда тот факт, что с 1992 года ни одна крымская библиотека, не считая республиканской и некоторых севастопольских, не получала ни одной книги и ни одного журнала из России. “Крымская весна” была делом чувства, да ещё генетической, народной памяти, а не знания. Она совершалась в большей степени русским сердцем, нежели умом. Кто-то, может быть, и читал в Крыму Грибоедова и Шолохова в минувшее двадцатилетие, однако я подозреваю, что таких людей было немного.

Но я ещё за несколько часов до первого нашего спектакля понял, что мои опасения, слава Богу, напрасны. В этот день в Ялте отмечали местный День благотворительности и милосердия, и на набережной имени Ленина,

недалеко от его же статуи в обрамлении пальм, играл духовой оркестр Черноморского флота. Он предпочитал джазовые и блюзовые композиции, воспринимавшиеся ялтинцами весьма тепло, но надо было видеть, что с ними стало, когда оркестр заиграл попури из русских народных песен! В пляс пустилась даже работница метлы и совка в оранжевом жилете, совершенно, отмечу, трезвая, но особенно поразила девочка лет четырёх-пяти, которая умело пошла по кругу в русской плясовой. Глядя на расцветшие улыбками лица людей, я думал, что их слишком долго заставляли забыть, что они русские, и теперь, после избавления от службы украинскому богу жратвы, они очень отзывчиво — куда более отзывчиво, чем в Москве, — откликаются на всё русское. Не было ничего похожего в их глазах, когда, помню, в один из Дней Ялты при украинской власти слушали они на набережной “Вопли Видоплясова”. Пиво, сигаретный дым, мусор, матерщина, те же чебуреки и шаурма, пустые глаза, а что горело — так это только зажигалки и подсветка мобильных молодёжи... Потом и на майдане такое световое шоу устроили инспектирующему Украину Маккейну...

И даже если ялтинцы давно не открывали Грибоедова и Шолохова, то всё равно знают, что это тоже нечто очень русское. И на шолоховском, и на грибоедовском представлении театр имени Чехова был полон, причём на последнем люди даже стояли в проходах. Но главное, конечно, было в не количестве зрителей. По бесплатным пригласительным билетам мало людей в такой прекрасный театр, да ещё на московских гостей, в любом случае не пришло бы. Важны были глаза ялтинцев, в которых не увидел я ни тени скуки и праздности (а большую часть шолоховского спектакля я специально просидел в зале), зато увидел тот же русский огонь, что и в глазах тех, кто аплодировал музыкантам-морякам на набережной. С той лишь разницей, что у зрителей в театре было чёткое, на мой взгляд, понимание, что они не просто вернулись в Россию, они снова вернулись в великую русскую культуру.

## “МОЩИ” ИОАННА ПАВЛА II

Следов этого загадочного события я не нашёл ни на сайте Вселенского патриархата, ни на других православных и неправославных ресурсах. Его словно никогда не происходило. Похоже, знают о нём только те, кто был в храме Святого Георгия в Константинополе воскресным утром 25 января 2015 года.

В этот день мы с женой приехали из “Ишподром-отеля”, расположенного близ Святой Софии, в Патриаршую церковь на Фанаре. У входа в Патриархат размещался солидный пост полиции под турецким флагом со звездой и полумесяцем. Крестов, между тем, не было видно — разве что едва различимый на фронте храма-базилики да на решётке перед навсегда закрытыми воротами, на которых турки в 1821 году повесили патриарха Григория V. Было около одиннадцати часов по местному времени, но мы попали к началу литургии. Её возглавлял Вселенский патриарх Варфоломей I — круглолицый, краснощёкий, с окладистой седой бородой, в очёчках. Пребывал он не в алтаре, а восседал справа у амвона, на высоком патриаршем троне самого святителя Иоанна Златоуста, сделанном из дерева грецкого ореха, периодически поднимаясь и благословляя собравшихся. Первые ряды стульев (а прихожане Константинопольской и Элладской Православных Церквей большую часть литургии сидят, на манер католиков) занимала иностранная делегация — итальянская, как потом выяснилось.

Сама служба, конечно, в целом походила на нашу, но имела и отличия. Например, Символ Веры читался только на клиросе, без мирян. А ведь в Святой Софии, по преданию, когда тысячи людей читали “Верую!..”, престол в алтаре сотрясаясь. Царские врата не закрывались на протяжении всей литургии, — оттого, наверное, что глава Церкви находился в храме. На малый и великий входы священство, диаконы и иподиаконы со свечами выходили не на солею, а сразу в храм, огибали его с обеих сторон, по гультыщам, и соединялись в центре, у старинной кафедры-амвона с винтовой лесенкой.

Священник поднялся наверх и оттуда читал Евангелие. На Причастии Кровь и Тело Христовы давались верующим отдельно, насколько я понял.

После отпуска итальянцы собрались в центре храма, а Варфоломей I спустился с трона, диакон развернул перед ним сафьяновую папку с каким-то текстом, и Патриарх стал читать его по-английски. Я ничего не понял, но догадался, что Варфоломей награждает стоящего перед ним итальянца — крупного, холёного, лобастого, с залысинами человека в цивильном костюме, шея которого росла из сутулых плеч чуть ли не под прямым углом. Завершив чтение, Патриарх благословил итальянца и повесил ему на грудь золотой орден или медаль, а на плечи с помощью диаконов накинуд какую-то зеленоватую мантию (но точно не стихарь).

Потом все целовали крест и получали благословение от Патриарха и иконочку Пресвятой Богородицы Явленной в подарок. Когда же мы шли на выход к гульбищу мимо алтаря и левого амвона, там скромно стояла плексигласовая рака, полная человеческих костей. К ней не прикладывались: она находилась в некотором отдалении, ближе к солею. Табличка на раке сообщала, вероятно, чьи это останки, но она опять-таки была на английском, и я её читать не стал. Только потом Ирина, моя жена, знающая английский, сказала мне: там написано, что это часть мощей... римского папы Иоанна Павла II.

Обсуждать этот удивительный факт мы тогда не стали, потому что очень хотели побывать в единственной действующей с византийских времён православной церкви Марии Монгольской (Богородице Панагииотиссы), находившейся в этом районе, на холме, и пожилой стамбульский грек из прихода любезно взялся довести нас туда. Спасибо ему, сами бы мы полдня плутали в узких улочках Фанара, где когда-то жили греки, а теперь поселились сирийские беженцы. И лишь потом, посетив ещё Влахернскую церковь, знаменитую чудом Покрова, мы по возвращении в отель задумались: а чему мы стали свидетелями в храме Святого Георгия? Судя по присутствию итальянской делегации и награждению её руководителя, это именно они привезли раку с останками из Ватикана. Как известно, тело Иоанна Павла II было эксгумировано в 2011 году, перед его так называемой беатификацией (причислением к лику блаженных у католиков), так что теоретически нельзя исключить, что тогда же изъяли часть его “мощей” для почитания вне стен собора Святого Петра. Но было ли возможно привезти их в дар православной патриархии без предсмертной воли самого Папы? Ведь в раке — едва ли не полскелета! Следовательно, такая воля имелась, и она нашла отражение в тайной части завещания Иоанна Павла II. Понятно, почему приняла этот странный “дар” Константинопольская патриархия с её ставшим притчей во языцех эккуменизмом. Но почему ныне покойный Папа захотел, чтобы часть его останков находилась под сводами Фанара и, возможно, почиталась, как почитаются мощи православных святых? Ответ один: он не верил (или не совсем верил), что собор Святого Петра в Риме — достойное место для упокоения и молитвы о его душе. Не верил, очевидно, что таковым является и любой другой католический храм.

Оттого, наверное, я нигде не мог найти ни строчки о том, что же произошло 25 января 2015 года в Патриаршем храме на Фанаре.

## ПОЭТА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ВЕЗДЕ

На улице Мехмет-аги в Константинополе, напротив нашего отеля, был ресторан “Cozy garden” (“Уютный сад”) — действительно уютный, но без всяких признаков сада. Мы там иногда обедали или ужинали. У входа, рядом с выносным меню, расхаживал обычно высокий худой зазывала — молодой человек в чёрном пальто, с вогнутым серповидным лицом. Он говорил немного по-английски и однажды спросил у нас, чем мы занимаемся. Жена сказала, что мы “райтеры” — писатели. Тогда молодой человек заявил, что он тоже “райтер”: пишет стихи и даже печатает их в каком-то местном альманахе.



Великое, всепроникающее дело литература! Назовите мне какую-нибудь другую профессию, представитель которой может запросто встретить “коллегу” под личиной ресторанныго зазывалы или дворника, — хоть в Турции.

## АЛКАШИ В КОНСТАНТИНОПОЛЕ

Каждый день в 10 часов утра мимо нашего отеля маршировали в ресторан “Уютный сад” два немолодых австрийских немца — красноносые, со слезящимися глазами. Они устраивались на веранде под электрическими обогревателями, которые в Константинополе вешают над головами посетителей, и похмелялись. Ближе к обеду к ним присоединялись две украинские проститутки. Мужики их кормили и поили, причём довольно дорогими блюдами и коктейлями. “Подсадили хлопцев на консумацию”, — с иронией констатировал один наш соотечественник, как-то обедавший с нами. Австрийско-украинское застолье сопровождалось специфической беседой, когда “мальчики” говорили только между собой, а “девочки” — между собой (отчего я и знаю, что они с Украины). Вероятно, девочки не понимали немецкого, а мальчики — русского, точнее, суржика подруг. Австрияки, главным образом, жаловались друг другу, что жизнь — тяжёлая вещь, дерьмо: “Дас лебен ист ди шве-эре, швере захе, ди ша-айзе!” (хотя, видно, не такая уж тяжёлая, коли у них имелись денежки хлестать в четыре горла дорожущее в стабульских заведениях спиртное), а шалашовки тараторили о шмотках и блондах, которые они любят “кушать”.

“Долго они вообще так сидят?” — спросили мы у поэта-зазывалы, кивнув на компанию. “С десяти утра до десяти вечера!” — не без зависти сообщил он. И точно: около 22.00, когда мы вышли из “Ипподром-отеля” погулять с пекинесом Шанелькой, австрийцы “косвенными” шагами, уже не в ногу, возвращались к себе в отель в сопровождении подруг. Не знаю, что им удавалось делать с ними в таком подпитии. Крепко повезло дамочкам! Глядя вслед этим туристам aus Еурога, я усомнился, что они побывали в Константинополе где бы то ни было, кроме аэропорта, отеля, ресторана “Уютный сад” и соседнего кафе “Бинок”.

И почему это о русских говорят, что они алкоголики?

## АРАРАТ И “ГЛУБОКАЯ ЯМА”

Монастырь Хор Вирап на самой границе Армении с Турцией. Судя по фотографиям, сделанным в ясную погоду, Большой Арарат отсюда не просто виден, — его заснеженная громада буквально нависает над монастырём, перекрывая весь горизонт в юго-западном направлении. Ведь до него отсюда всего километров 35—40. Но Арарат не случайно имеет мистическую славу. Я видел лишь подножия Большой и Малой горы, хотя светило солнце и облаков было немного. Какая-то лёгкая, неуловимая, но абсолютно непроницаемая дымка завесила оба пика, словно шёлковая занавеска в полнеба, и только предгорья торчали из-под неё, как ботинки спрятавшегося за пгторой гиганта.

Христианство пришло в Армению из Хор Вирапа в 301 году. Здесь язычники подвергли неслыханным истязаниям святого Григория Просветителя, почитаемого и нашей Церковью как священикомученика, а потом бросили в каменный мешок, где он томился целых 14 лет. Так царь Трдат III, поставленный римлянами, мстил Григорию за то, что он не хотел приносить жертвы языческим богам. За годы, проведённые святителем в яме, ненависть царя к христианам только усиливалась, гонения становились всё более лютыми, но однажды Трдат повредился умом, а потом лицо его превратилось в свиное рыло. Тогда он велел вытащить Григория из ямы, призвал к себе и попросил исцелить Христа ради. Святитель вернул ему человеческий облик, но сначала добился от него покаяния за кровавые грехи. После этого Трдат III крестился и провозгласил христианство государственной религией — первым в мире.

С тех пор вот уже 1714 лет Хор Вирап, что в переводе с древнеармянского означает “глубокая яма”, является местом поклонения верующих армян. Здесь, на склоне небольшой горы, поместилось всего два храма — Божией Матери и Святого Геворга. Окружающие их стены, слишком мощные для маленького монастыря, с круглыми башнями по углам, что не удивительно, если учесть, что в дохристианские времена здесь была тюрьма.

Церковь Святого Геворга, возведённая над “вирапом” Григория Просветителя, совершенно не похожа на армянские церкви, как мы их себе представляем — крестообразные по форме, с острыми, словно ровно заточенный карандаш, куполами. Нет, это, говоря просто, каменный домик с двускатной крышей, а говоря учёным языком — небольшая базилика. Но именно такими были древние армянские храмы, включая главный, эчмиадзинский, до его перестройки в купольный. По типу базилик, кстати, строили и европейские церкви в раннем Средневековье, включая знаменитый собор Парижской Богоматери в его первоначальном виде (так называемый романский стиль). А вот храм Святого Геворга, возведённый в 642 году, перестраивать в 1661 году под крестово-купольный не стали и, расширив его, сохранили прежнюю форму.

Я ожидал увидеть Глубокую Яму в некоем торжественном архитектурном или иконописном обрамлении, как обычно украшены православные и особенно католические святыни. Но храм над Ямой был аскетичен до предела — с почти голыми каменными стенами и алтарём, высоко, точно сцена, вознесённым над полом церкви, со ступеньками по обеим сторонам (это особенность всех армянских храмов). Малиновая завеса с вышитым на ней белым крестом, закрывающая алтарь, придавала ему ещё большее сходство с театральной сценой. Никакой Ямы я поначалу не увидел, да это было и сложновато: церковные своды ничто, кроме нескольких свечей, не освещало. Лишь потом, когда глаза привыкли к полумраку, я обнаружил в закулке справа от входа небольшой квадратный люк в полу с уходящей почти вертикально вниз железной лестницей. Над ней не было ни икон, ни каких-либо украшений, ни даже просто таблички с надписью, что же там внизу находится, — только выщербленные плиты. С трудом втиснулся я в этот закуток со своим планшетом и начал спускаться в узкий колодец. Метра через три пролёт закончился, и пришлось, согнувшись в три погибели, поворачиваться на 180 градусов, чтобы нащупать ногой ступени второго пролёта, идущего вниз уже под некоторым углом. Не захочешь, а будешь кланяться, как и при спуске к пещерному Благовещенскому монастырю на склоне горы Мангуп в Крыму! Там горную тропу завалил обрушившийся сверху кусок скалы, и нужно на четырёх точках пролезть под ним, чтобы попасть в обитель.

Достигнув дна темницы, я ощутил только пробирающую до костей сырость, потому что в каменном мешке была полная мгла. Если бы парень с видеокамерой, который здесь уже находился и откуда-то дышал из темноты, не включил подсветку своего “Бетакама”, то я ничего бы и не увидел. Мы стояли в круглом подземелье диаметром метра два с половиной и высотой метров в шесть. Я понял, что это одна из крепостных башен, которая соседствовала с возвышавшимся над ней храмом. Таким образом, Яма располагалась не строго под церковью, а в стороне, и ход к ней был прорублен в скале. Подземелье украшал только вырезанный на плите хачкар (крест) да аналогичик сбоку под малиновым покровцем. И всё. Я опустился на шесть метров вниз, а оказался на 1714 лет назад. Таким смешным здесь выглядел планшет в моих руках! Я перевёл его в режим видеосъёмки и поглядел вверх, на лаз в скале, по которому кто-то ещё спускался. Никакой лестницы здесь во времена заключения Григория Просветителя, естественно, не было, и тюремщики просто сбросили истерзанного мученика в колодец. И пола из каменных плит тоже не было; внизу, как писал святитель Дмитрий Ростовский в житии священномученика Григория, чавкало смрадное болото, в котором водились змеи и прочие гады. Ни разу за все 14 лет он не вышел отсюда на поверхность даже по нужде: все нужды приходилось справлять здесь же, а потом дышать этим. 14 лет среди змей и нечистот, в болотной жиже! Что там Эдмон Дантес и узник замка Иф аббат Фариа! У них, надо

думать, выносная параша была, и спали они на кроватях! Кроме того, их кормили, а святителю Григорию лишь одна милосердная женщина раз в день бросала в колодец лепёшку и спускала в кувшине на верёвке воды. Могучей силы духа был этот человек, не только выживший с Божьей помощью в этой каменной могиле, но и заставивший своего мучителя креститься и окрестить потом всю Армению! Кажется, чем дольше его прятали в Глубокой Яме, тем выше возрастал он духом, словно Арарат над грешной землёй.

...Когда мы возвращались в Ереван, вдруг справа обозначилась на вечернем небе громада весь день прятавшегося от нас Арарата. Я схватил планшет, стал снимать. Но потом, просматривая видео, контура священной горы я на нём не обнаружил — видно, маловато сидел в Глубокой Яме.

## РИМ, 9 МАЯ

Итальянцы не отмечают ни 9 Мая, ни даже 8-е, как остальное “прогрессивное человечество”: они празднуют 25 апреля день освобождения Италии, причём считают, что сами её и освободили. 9 мая 2015 года я был в Риме, поэтому привёз из дому большую георгиевскую ленточку и орден Сталина (так называемый “общественный”). Я не сталинист, но орден этот принял. Как ни относиться к Сталину, а без него Гитлера не победили бы. Утром 9-го жена увидела, как я нацепил на грудь ленту и орден, нахмурилась: “Встретится какой-нибудь украинский националист, драка начнётся, в полицию заберут”, — но потом тоже привязала георгиевскую ленточку к сумке. Забегая вперёд, скажу, что украинских националистов мы за весь день не встретили ни одного, либо они никак не проявились.

Ленточка и Сталин были испытаны буквально через несколько минут, и с немалым успехом. Я спустился к портье, чтобы вызвать такси. В холле галдели и гоготали похмельные немцы, ожидающие вместе со своими чемоданами автобуса. Когда я шёл мимо них, они все, как по команде, смолкли, уставившись с открытыми ртами на мою украшенную грудь. В этом гробовом молчании, в котором, кажется, слышался скрип провожающих меня глазных яблок, я проследовал к ресепшену, договорился о такси и пошёл на улицу курить. Я ликовал: наконец-то найдено средство заставить этих гансов заткнуться! Такого в Риме они точно не ожидали увидеть!

Два вечера подряд соседи-немцы доставали нас своим громким шпреханьем и ржаньем. Пойдёшь в кафе напротив отеля — они там сидят, целая дюжина, угощаются пивом, вином и коктейлями и гогочут, как гуси, на каждое слово бойкой девицы с крепкими германскими икрами, выполнявшей у них роль заводилы. “...Ихь загэ ир: “Ду бист айне фрау-идиот!” — “Га-га-га!” — “Унд зи мир антвортет: “Ду зельбст айне фрау-идиот!” — “Га-га-га!”. Мы сидим, ждём со злыми лицами, когда, наконец, официантка, она же повар и хозяйка кафе, покончит с их заказами и займётся нами... Хорошо, они хоть на закуске сэкономили: вчера взяли всего две пиццы на двенадцать рыл, а то бы нам до закрытия ждать. Можно было, конечно, уйти, но хозяйка хорошо готовила, брала недорого и не запрещала приносить своё спиртное. Мы всё же дождались своего ужина, а там и немцы, хвала Создателю, напились, наорались и свалили, гогоча, восвояси, и мы немного отдохнули от них. Но — немного. Вернувшись в номер, мы через некоторое время захотели чаю и пошли в бар на открытой веранде отеля. Входим — опять тот же гогот и те же рожки, только в “узком” составе, человек шесть (“свой”, видимо), и сидят уже по-взрослому — с вискарём, джином, водярой. В кафе они на нас особого внимания не обращали, а тут уставились. И мы в их глазах, и они, наверное, в наших прочитали: “Преследуете вы нас, что ли?” Потом они отвернулись и начали ещё громче галдеть и ржать — уже с некоторым вызовом, вроде. Эх, раззудись, плечо, размахнись, рука: немец гуляет!

И вот — о чудо! — георгиевская ленточка и дедушка Сталин враз сделали их тихими. Нечто подобное я потом видел в парижском метро. Ехали две молоденькие немки со своими чемоданами по монмартрской ветке, шпре-

хали на весь вагон без остановки, не замечая косых взглядов парижан (у них так громко не принято), и повторяли зачем-то за диктором названия станций: “Бельвиль!”, “Колонель Фабьен!”, “Жорес!” И тут сверху, как с небес, грянуло суровое: “Сталинград!” Надо было видеть физиономии фройляйн! Они вздрогнули, повторили тихо и полувопросительно: “Сталинград?..”, посмотрели друг на друга и — замолкли, словно пережили мистическое потрясение. Мистики же никакой не было: в Париже есть и такая станция (как, впрочем, и бульвар Ленина).

На итальянцев ленточка и орден произвели меньшее впечатление, но один раз они нам здорово помогли. У нас на этот день имелись комбинированные билеты: Форум — Палатинский холм — Колизей. Но наша экскурсоводша после посещения Форума изменила порядок: пойдёмте, сказала, теперь в Колизей, а по Палатинскому холму вы будете потом в индивидуальном порядке ходить, он слишком большой. Когда же мы, распрощавшись с этой хитрой дамой у Колизея, направились на Палатин, молодые контролёры у турникетов заявили нам, что, согласно билету, положено посещать Холм после Форума, и только потом идти в Колизей. Дескать, хотите теперь на Холм, покупайте снова билеты. Мы стали говорить, что это — “бюрократизмо” и “волонтаризмо” и что мы, “руссо туристо”, безусловно обладая “облико морале”, уже раз заплатили за их достопримечательности. И тут я поймал уважительный взгляд начальника этих контролёров, полноватого человека средних лет, на моей груди. Он был, наверное, левых убеждений: успокоил жестком помощников и пропустил нас, любезно отомкнув турникет своей карточкой.

Так что Палатинский холм увидел всё же ленточку и Сталина. Завершилась их презентация на другом конце Рима — в Термах Каракаллы, грандиозных, потрясающих самое смелое воображение развалинах бань. Здесь-то я понял тот источник ненависти, что испытывали к Риму варвары. В Термах этих даже библиотека была, в отдельно стоящем здании (оно, кстати, сохранилось лучше других строений). Хочешь — иди в парилку, хочешь — в бассейн с холодной или тёплой водой, хочешь — к ласковым гетерам, а можно и в огромный сортир, где на мраморных сидалищах, под меланхоличное журчание канализации часами обсуждаются политические и театральные новости, хочешь шопинга после бани — к твоим услугам многочисленные “бутики” в нижней галерее. Между этажами снуют лифты, исправно работающие с помощью надёжных устройств — рабов и верёвки. Если же ты нуждаешься не только в омовении тела, но и в оздоровлении духа, то заворачивайся в тогу и садись в портшез, и слуги отнесут тебя через дорогу в библиотеку, а там — “г’аботать, г’аботать и г’аботать!” — как говаривал Ленин.

А чтобы иметь полное представление о масштабе досуга и отдыха римских патрициев, следует прибавить, что Термы Каракаллы — лишь малая часть той спортивно-оздоровительной структуры, исполненные развалины которой поднимаются над плоскими кронами пиний в районе метро “Чирко Массимо” — взять тот же Цирк Максимиана вместимостью в 250 тысяч зрителей. Полагаю, разрушить эти каменные колоссы было не менее трудно, чем построить. Взрывчатки-то ещё не придумали. Кто же это сделал? Точно не сменившие римских императоров Одоакр и Теодорих, как принято считать (они и сами были не прочь попользоваться). Их разрушили бывшие рабы, которые никогда больше не хотели вкалывать на римских галерах “культуры и отдыха”.

Вечером в нашем кафе, свободном от немецкой оккупации, выпили за Победу, а потом пошли в номер смотреть по интернету Парад на Красной площади. И когда двинулись по ней, ровно колышась в строю, наши полки, я понял, что Третий Рим всё ещё существует, а Четвёртому точно не бывать. Дорога, по которой шли когда-то через Форум римские легионы, давно заросла травой и едва угадывалась среди древних имперских развалин, а русские полки печатали шаг по целёхонькой брусьчатке Красной площади, окружённой крепко стоящими имперскими постройками. Мы были по-прежнему империей реальной, несмотря на все катастрофы XX века, а Рим — импе-

рией потусторонней. Что же до древности, в которой мы соревноваться с Римом не могли, то, право же, лучше быть живым молодым человеком, чем старым и мёртвым памятником.

## РИМСКИЙ ЦЕЗАРЬ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Чаадаев, критикуя наш национальный характер, написал в “Философических письмах”, что в Кремле стоит самая большая в мире пушка, которая никогда не стреляла, и самый большой в мире колокол, который никогда не звонил. И по сей день наши недруги эти примеры дружно повторяют.

А вот в парижском Доме инвалидов стоит мраморная статуя человека в римской тоге, в золотом лавровом венке на голове, со скипетром и державой в руках и орденом Почётного легиона на груди. Надпись на надгробье гласит, что это Наполеон II, король Рима (1811–1832).

Я некоторое время смотрел на статую в недоумении. Это кто же — пресловутый “Орлёнок”, единственный законный сын Наполеона I, герой сентиментальных романов? Но если он родился в 1811 году, то ему было всего четыре года, когда отец его во второй раз отрёкся от престола. Да и находился мальчик в это время вместе с матерью в Австрии. Ну, да, Наполеон I “назначил” маленького отпрыска и королём Рима, и даже императором Франции, коим он числился ровно две недели. Но ведь наш Орлёнок в июле 1815 года, когда перестал быть и тем, и другим, ещё в штанишки писал! Он бы и поднять не сумел эти тяжёлые скипетр и державу! А когда и за что сей младенец заслужил орден Почётного легиона?

Несостоявшийся Наполеон II дожил до 21 года и умер от туберкулёза в австрийском Шёнбрунне под именем Франца Йозефа Карла, герцога Рейхштадтского, майора австрийской армии (поскольку, как и Петруша Гринёв, был зачислен в полк едва ли не с младенчества). Имел он даже и орден — Королевский Венгерский Святого Стефана. Так вы его и изваяйте австрийским майором с венгерским орденом! Чего вы нам “римского цезаря” с орденом Почётного легиона подсовываете?

А кто, кстати, это сделал? Ведь могила и статуя Наполеона II появились здесь сравнительно недавно, в 1940 году. Вообще-то Орлёнок был захоронен в Вене, а сюда, в парижский Дом инвалидов, его прах велел перенести... Гитлер (какая приятная деталь для французов!). Вероятно, он исходил из тех соображений, что Наполеон II был наполовину австрийским немцем (по матери, австрийской принцессе Марии-Луизе). Таким образом, Гитлер символически связывал свой Третий рейх с рейхом Первым, Священной Римской империей германской нации, обязанной возникновением германцу Карлу Великому. А то, что “король Рима” Наполеон II никогда, по сути, не царствовал — это детали, главное — преемственность.

Французы после освобождения Парижа оставили всё, как при Гитлере, и не перенесли прах виртуального Наполеона II и его римскую статую из Дома инвалидов куда-нибудь на кладбище Пер-Лашез. Хотя нелепость почитания Наполеона II на государственном уровне очевидна, особенно, если учесть, что реально правивший 22 года Наполеон III похоронен даже не во Франции.

А Чаадаев критикует нас за Царь-пушку и Царь-колокол!

## ПУТИН-ВОЙНА

В парижском квартале Бельвиль, рядом с отелем, зашёл в супермаркет купить минеральной воды. Хотел сдать сумку с бутылкой вина и кое-какой провизией в камеру хранения, а её нет. Что ж мне, разворачивать свои пакеты, показывать негритянке на кассе? Тут вижу знакомых девчат у турникета: они всегда здесь какие-то рекламные листовки раздают. Говорю им: “Добрый вечер, поддержите, пожалуйста, мою сумку”, — что звучит на варварском французском языке человека, безуспешно изучавшего в институте

немецкий, примерно так: “Бонсуар, силь ву плэ, тенэ мон сак”. Если кто-то знает правильную транскрипцию и произношение, не возражаю, чтобы меня поправили. Одна из девушек удивилась, но пакет взяла. В Париже вообще много мазуриков, никто никому сумок добровольно не отдаёт. Но этим-то девицам ещё не раз приходится сюда с листовками, убежать с какой-то невзрачной сумкой им явно не с руки.

Выбирал воду долго, подслеповато пытаясь найти на этикетках слово “la gazeuse”, “газированная”, потом взял наудачу “Перье” — она вроде всегда газированная. Девушка же всё стояла с моим пакетом. Поблагодарил её, сказал обоим комплимент. Они заулыбались, а вторая, толстенькая, спросила, откуда я. “Же сюи де ля Рюси”. “О! — оживилась толстушка: — Ля Рюси! Москву! — и лукаво прибавила: — Путин-гер!” Путин-война, стало быть. Они его уже на манер Пуанкаре величают. Это того звали Пуанкаре-война. Вот вам антироссийская пропаганда в действии. Тогда я сказал им одну из тех пяти французских фраз, которые знал: “На войне, как на войне!” (“А ля гер ком а ля гер!”). Они засмеялись, закивали. Дескать: мы понимаем, но это не наша война. Однако ровно через месяц, 13 ноября 2015 года, выяснилось, что ваша, причём принёс её вам не Путин-гер.

## ОПЛОШНОСТЬ

На улице Ла Юшетт в Латинском квартале много всяких греческих ресторанчиков. Остановившись возле одного из них, мы увидели на веранде подвешенные к потолку электрические обогреватели — как в Константинополе. Значит, здесь тепло плюс хороший вид. Французы так клиентов не балуют: хочешь курить и глазеть по сторонам, садись за крохотный столик под открытым небом, прямо на тротуаре, среди прохожих. Зашли. Гарсон-завывала, чернявый плотный экспансивный парижский грек, сделался очень любезен, когда узнал, что мы русские, я же допустил оплошность, указав на обогреватель:

— Как в Стамбуле!

Грек даже подпрыгнул и вскричал негодуяюще:

— Но! Но Стамбул! Кон-стан-ти-но-поль! — и вытянул из-под накрахмаленной сорочки здоровенный золотой православный крест на золотой же цепочке.

— Конечно, Константинополь, — согласился я, а сам подумал: поздно-вато вы об этом вспомнили.

## БРЕМЯ БЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА

В студенческие годы у нас был “прикол”: едем компанией в метро, и вдруг кто-то вскакивает и орёт: “Бежим, контролёры!”, — а за ним вскакивают и другие, только потом вспоминая под смех всего вагона, что в метро нет контролёров. Но это в московском метро, а в парижском они есть. И в вагонах, и на выходе из метро. Ты должен предъявить им узкий билетик из плотной бумаги, и они проверяют его на портативном сканере, когда и на какой станции ты вошёл в подземку. Потому что войти в неё можно, и перепрыгнув через турникет (как до недавнего времени делали и у нас, пока не приварили к боковинам устрашающие “яйцерезы”), и через выходы на некоторых станциях, не оборудованные турникетами. Не зная этой особенности, в один из таких выходов (sortie) мы с женой машинально зашли вслед за местной девушкой, основательно изучившей, видимо, халявные возможности проезда. Как-то непривычно быстро для парижской подземки мы оказались на платформе, причём бесплатно. Что ж, спасибо! Парижское метро — дешёвое удовольствие: евро восемьдесят за поездку. Но на выходе из станции Елисейские поля—Клемансо нас ждали контролёры — мужик и две бабы. Мужик представился на американский лад — “маршалом”. Маршал мытарей подземки! Категорически не принимая никаких объяснений

и ежесекундно угрожая вызвать полицию, они ободрали нас на 33 евро каждого. Попасть в участок ближе к ночи, да ещё в чужой стране, нам совсем не улыбалось, и мы скрепя сердце заплатили.

Через пару дней мы видели, как эти же мытари пытались оштрафовать в поезде на станции Шатле негритянку. Она подняла такой крик, что “маршалы” выскочили из вагона, как ошпаренные. Полиции, видимо, не вызывали, да и она, подозреваю, с той громогласной дамой связываться тоже не стала бы. Это только у нынешнего белого человека такое время — молчать и платить.

## МЫ С ВАМИ ЭТО НЕ БУДЕМ ЕСТЬ

Елисейские поля в Париже — не самое лучшее место, чтобы перекусить русскому человеку: пища там либо дорогая и нам неизвестная, либо поднадоевшая итальянско-пиццерийная. Ну, ещё вариант — “Макдональдс”. Ходили мы с женой от рестораника к ресторанику, читали меню у входа. Одно из блюд нас заинтересовало — “настоящая говядина по-татарски” (real beef of tartar). Ну, что ж: у татар вроде плохих блюд из говядины не бывает.

Зашли, заказали. Народ вокруг жрёт моллюсков типа устриц или крымских рапанов прямо из дымящихся кастрюль. Весёлый подвижный негр-официант быстро принёс наш заказ. Мы увидели... сочащийся кровью фарш с сырым яйцом и гарнир из картошки-фри и капустного салата. Очевидно, в Париже полагают, что татары — поклонники сыроденения. Могли бы и картошки сырой дать, раз такое дело. А может быть, of tartar означает “по-адски”: от Тартара — адской бездны, а не от одноимённого европейского названия Татарии? Или — “по-вампи́рски”?

Пару минут, утратив дар речи, мы пялились на real beef of tartar, а потом позвали весёлого негра и спросили, кто это может есть. Уразумев, в чём дело, тот осклабился и ответил:

— Мы с вами не будем, а французы с американцами едят.

Я всегда считал вслед за Робинзоном Крузо, что одно из отличий цивилизованных людей от дикарей в том, что они не употребляют в пищу сырого мяса. Стало быть, русские и негры, по версии гарсона, — цивилизованные люди. А французы с американцами кто же тогда?

## БЕЗ КОРМЧЕГО

Поезд тронулся, и я вдруг увидел перед собой туннель подземки, как никогда его в жизни не видел — без всяких преград, напрямую. Словно я машинист поезда. Тут только я понял, что и сижу на месте машиниста, поскольку на этой линии парижского метро составы управлялись бортовым компьютером или компьютером за бортом. Ну, может быть, предполагался где-то и оператор. Я оглянулся: никто из пассажиров даже не смотрел вперёд — привыкли. А молодой человек по соседству не терял даром времени в пути: достал книжечку папиросной бумаги, кiset с табаком и необыкновенно ловко, не просыпав ни крошки табаку, за пять секунд свернул идеально круглую сигаретку, не забыв вставить в неё фильтр из отдельного пакетика. Да, люди почитают свои маленькие заботы более важными, нежели мысли о том, кто ими управляет — хоть в государстве, хоть в поезде метро. Вот, скажем, молодой человек выйдет из подземки — и сразу задымит. А то на улице возиться с самокрутками неудобно: я знаю, сам их вертел в начале ельцинских 90-х, не имея денег на сигареты. Наблюдение за мастерской работой француза, неподвластной вагонной тряске, подействовало успокаивающе, но всё равно было как-то не по себе, хотя, не исключено, я и в Москве на таких поездах ездил, только не знал этого. К реальности из фантастических романов привыкать трудновато. “Значит, без руля и без ветрил”, — подумал я, но тут же поправил себя: без кормчего. Если бы такое случилось с мчащимся в море катером, то кое-кто бы уже выпрыгнул в воду, — напри-

мер, моя жена, которая сидела в центре вагона и не знала, к её счастью, в каком поезде она едет. Шутка сказать: состав, завывая, набирает скорость в чёрной дыре, а вместо машиниста я — такой же пассажир, как и все другие, причём даже не знающий, где у них здесь, лягушатников, стоп-кран. Может быть, мне не надо было садиться сюда, вперёд? Стоял бы рядом с женой в середине вагона, глядел сомнамбулически на своё отражение в окне. А кто там ведёт поезд — какая разница? Ведь кто-то же управляет всем этим грандиозным подземным хаосом под названием парижское метро, по сравнению с которым метро московское — образец гармонии и порядка? Линии сплелись, как нити частой паутины, поезда летают по ним туда-сюда, а персонала на станциях не видно, только бомжи по-хозяйски устраиваются на ночлег, с наслаждением шевелят пальцами разутых ног, покуривая сигареты, что вроде бы категорически запрещено в общественных местах Евросоюза. Всё как-то происходит волею компьютера — без кормчего, без веры в присутствие начальника над кормчими. А разве наверху, в надземной части Парижа, иначе происходит? А во всей Франции? А в остальном мире? Я глядел на чёрную извилистую дыру, в которой мы с грохотом исчезали, на безразличных пассажиров, и испытывал нечто сродни ощущению пути человечества без Бога.